

**СПЕЦШКОЛА:
СПЕЦШКОЛА:
НЕВОЛЬНИК СИСТЕМЫ**

Ходорев С.В.

Лишний

Сергей Ходорев

Спецшкола. Невольник системы

«Автор»

2026

Ходорев С.

Спецшкола. Невольник системы / С. Ходорев — «Автор»,
2026 — (Лишний)

Сергею девять лет, когда отец привозит его в спецшколу и уходит, не оглянувшись. За забором с колючей проволокой — сто пятьдесят детей от девяти до четырнадцати. Каждый со своей историей, каждая тяжелее предыдущей. Сергей быстро усваивает правила: не показывай страх, не доверяй, не будь жадным. Но находит и своё: гитара, песни Петлюры, кукольный театр, книги Достоевского. Когда он поёт — забывает про забор. Когда читает — понимает, что он не один. Но за талантом — боль. Родители не приезжают, не пишут, не звонят. А злость — это всё, что у него есть. «Спецшкола: Невольник системы» — книга о детях, которых система списала, а жизнь — не успела понять

Сергей Ходоров

Спецшкола. Невольник системы

Глава 1. КПП: отец ушёл

Ну вот Сергей остался совершенно на КПП один. Отец ушёл.

Отец не оглянулся. Просто развернулся, толкнул дверь КПП и вышел. Шаги его быстро стихли — то ли потому, что торопился, то ли потому, что ему самому было легче так, не оглядываясь.

Сергей стоял в маленькой комнатке КПП, где пахло казённым — какой-то хлоркой, старым деревом, может, нафталином. Окно было пыльное, узкое, с облупившейся краской на раме и паутиной по углам, где сидела маленькая муха и сплетняла лапками, будто ей не было дела ни до кого. Через мутное стекло виднелся кусок территории: забор, край поля, крыша какого-то здания вдалеке. Где-то за этой крышей, далеко, в той стороне, откуда они прилетели, была другая жизнь — дома, дворы, улицы, которые он знал наизусть, и люди, которых он больше не хотел знать. А здесь — забор, поле и крыша, назначение которой он даже не мог угадать.

Сергей смотрел в это окно, и у него в голове крутилось очень много мыслей, и все они толкались, перебивая друг друга, и ни одну из них он не мог ухватить и додумать до конца. Каждая мысль начиналась и тут же обрывалась, начиналась другая, и та тоже обрывалась. Как будто кто-то внутри него переключал каналы очень быстро, и он не успевал ничего понять. Мысли путались, налезали друг на друга, как провода в старом телевизоре, который он однажды разбирал дома, — дёрнешь один, а за ним тянется другой, и третий, и в конце концов всё слипается в один тугой узел, и уже не поймёшь, где начало, где конец.

Он стоял и смотрел, как спина отца удаляется по дорожке — прямо, не оборачиваясь. Руки в карманах, шаг широкий, привычный. Вот он прошёл мимо клумбы — засохшей, с какими-то чахлыми цветами, чьи стебли торчали из сухой земли, будто тонкие серые прутья. Вот поравнялся с калиткой. Вот толкнул её — скрипнула, и этот скрип был последний звук, который Сергей услышал от отца. Потом — тишина. Густая, плотная, как вата. Тишина, которая не просто стояла в комнате, а как будто вползала внутрь, заполняла уши, горло, грудную клетку — и давила. Не больно, не резко — тупо, ровно, не отпуская.

«Не оглянулся, — подумал Сергей. — Даже не обернулся. Как будто меня и не было. Как будто он пришёл, сдал вещь, расписался и ушёл. Как в камеру хранения. Только сдал не вещь — меня».

Он не представлял, куда идти. Не представлял, что будет через час, через два, вечером. Не представлял, как он будет спать в чужой постели, в чужой комнате, среди чужих людей. Он вообще не понимал, где он находится — в каком городе, в какой области. Отец не сказал ему этого. Или сказал, но он не запомнил — в дороге всё слилось в одну усталую бесконечность. Перелёт, автобус, КПП — и вот он стоит здесь, и никто ему ничего не объясняет, и некому даже задать вопрос, потому что отец уже ушёл, а спрашивать у незнакомых взрослых ему не хотелось. Он не привык, чтобы чужие люди ему что-то объясняли. Он привык сам.

Снаружи, за окном, ветер тронул сухие стебли на клумбе, и они тихонько зашуршали, словно пытались что-то сказать. Солнце — или то, что здесь было вместо солнца, — тускло еле пробивалось сквозь низкие серые облака, и тени от всего — от забора, от столбов, от будки — лежали на земле бледные, неясные, будто нарисованные карандашом, который почти стёрли.

Он постоял ещё немного. Минуту, может, две. Потом подошёл к окну, дунул на него — пыль поднялась, закрутилась в косом луче света, который пробивался сквозь стекло, будто тонкая золотая лента. За окном — территория. Забор. Поле. Дорога, по которой только что ушёл отец. Дорога была пустая. Ни одной живой души. Только где-то далеко, на поле, слышны были голоса — крики, смех, мат. Живая жизнь. А здесь, в КПП, — тишина и он. Он и тишина. Двое в маленькой комнате, и оба молчат.

Глава 2. Первые шаги по территории

Сергей сел на деревянную скамейку, которая стояла у стены. Скамейка была старая, тёмная от времени, с вырезанными инициалами — кто-то до него сидел здесь, кто-то тоже ждал. Он провёл пальцем по вырезанным буквам: «А.К. 1987». Буквы были неровные, грубые, вырезаны, видимо, перочинным ножом или гвоздём. Кто этот А.К.? Тоже сидел здесь, тоже смотрел в окно, тоже ждал, пока кто-то придёт и скажет — куда идти? Или его тоже привезли и оставили? Тоже не оглянулись? Сколько лет назад — восемь? Девять? И где он теперь? Дома? На свободе? Или всё ещё где-то за забором, только за другим?

Рядом с «А.К. 1987» были и другие вырезанные буквы — полустёршиеся, едва различимые. «Д.В.» — без года. «С.М. 1991». Кто-то вырезал сердечко — наивно, криво, детское. Кто-то просто царапнул линию, ничего не написав. Сергей провёл пальцем по этим следам, и они были как послания из прошлого, из чужих ожиданий, из чужой тоски, которую кто-то пытался оставить хотя бы здесь, на дереве, потому что больше нигде.

«Ладно, — сказал он себе. — Ладно. Хватит. Надо думать. Надо соображать. Сиж тут, как дурак, жду чего-то. Никто не придёт. Никто не скажет: „Пойдём, Серёжа, я тебя заберу“. Надо самому. Всегда надо самому».

Он сжал кулаки, почувствовал, как ногти впиваются в ладони, — и разжал. Глубоко вздохнул. Выдохнул. Встал.

Через какое-то время пришла женщина. Она вошла спокойно, без суеты, улыбнулась. Назвалась педагогом Татьяной. Также психологом по совместительству.

— Здравствуй. Ты Сергей? — спросила она мягко, без той казённой интонации, которой он боялся.

— Ну, — ответил он. Не «да», не «здравствуйте» — просто «ну». Коротко, отстранённо. Как будто ему всё равно. Хотя ему не было всё равно — он просто не хотел показывать, что ему не всё равно.

— Меня зовут Татьяна. Я здесь педагог и психолог. Я проведу тебя до отряда, познакомлю с ребятами. Не волнуйся, всё будет хорошо.

Сергей посмотрел на неё — она была вроде бы добрая, говорила мягко, не давила. Но он уже знал по жизни: добрые люди — это не всегда безопасные люди. Доброта может быть и искренней, и способом расположить к себе, чтобы потом вытянуть из тебя то, что тебе рассказывать не хочется.

«Добрая, — подумал он. — Ну-ну. Посмотрим, насколько добрая. Поживём — увидим. Доброта — она как сигарета: даётся легко, а потом ты зависишь, а потом тебя бросают. Нет уж, спасибо».

Он не спешил доверять, но и не грубил. Просто молча кивнул, когда она сказала, что проведёт его до отряда.

Она шла впереди, и Сергей плёлся сзади. По дороге она что-то рассказывала — про распорядок дня, про то, что тут всё не так страшно, как кажется, что ребята хорошие, что он освоится.

— Тут у нас распорядок простой: подъём в семь, зарядка, завтрак, потом школа, потом обед, труды, свободное время, ужин, отбой в десять. Ничего сложного. Ребята у нас нормальные, ты освоишься. Бывает поначалу тяжело, но потом втягиваешься. Ты где раньше жил?

— Далеко, — ответил Сергей. И замолчал.

— Понимаю, — сказала Татьяна. Не спрашивая дальше, не уточняя. Просто — «понимаю». И пошла дальше.

Татьяна покосилась на него — не обиделся ли, не закрылся ли. Но не стала настаивать. Поняла, видимо, что не время. Шла дальше, рассказывала, а Сергей слушал вполуха. Он смотрел по сторонам, запоминал. Где что стоит. Куда ведут дорожки. Где ворота. Где забор. Где можно пройти так, чтобы тебя не было видно.

Дорожки были бетонные, с трещинами, кое-где — лужи от недавнего дождя, в которых отражалось серое небо, и если смотреть под ноги, казалось, что идёшь не по земле, а по небу — мутному, неясному, чужому. По обе стороны — газон, вернее, то, что когда-то было газоном: примятая трава, сорняки, одуванчики, чьи пушистые головки уже разлетелись, оставив после себя голые стебли. Кое-где из трещин в бетоне пробивались тонкие зелёные ростки — упрямые, никому не нужные, но живые. Сергей посмотрел на них и подумал: даже тут растёт что-то. Даже тут.

Забор — слева, метрах в десяти от дорожки. Деревянный, серый, высокий. Сергей считал: раз, два, три... примерно три метра. Наверху — колючая проволока, ржавая, в несколько рядов. Он отметил: колючка есть, но ржавая — может, и не такая острая, как выглядит. Проволока натянута неровно — кое-где провисает, кое-где вообще отходит от столбов. Он это запомнил. Столбы тоже деревянные, вросшие в землю, подгнившие снизу, но ещё крепкие — расшатать такой ногой вряд ли получится. Сергей прикинул: если подкопать снизу — может, и выйдет. Но это если есть чем копать. И если никто не увидит. И если за этим столбом нет второго, третьего, десятого — а их, конечно, десятки.

Справа — поле. Футбольное, судя по воротам — ржавые, без сетки, перекладина покосившаяся. На поле — мальчишки. Бегают, орут, пинают мяч. Человек двадцать, может, больше.

Кто-то в майках, кто-то в рубашках, кто-то босиком. Шум, крики, мат — обычный мальчишеский футбол, только за забором. Ветер шевелил траву на поле, поднимая мелкие сухие травинки, которые кружились в воздухе, словно крошечные вихри. Мяч — старый, потёртый, с трещиной на боку — летал из конца в конец, и каждый удар по нему сопровождался новым взрывом голосов. Один мальчишка, повыше других, бежал за мячом, споткнулся, упал — и тут же засмеялся, вскочил, побежал дальше. Другой стоял в воротах, скрестив руки, и лениво отбивал то, что летело в его сторону. Было видно, что ему скучно — или он просто делал вид, что ему скучно, чтобы не показывать, что ему важно.

Отряд — это было двухэтажное кирпичное здание. Старое, но крепкое. Кирпич серый, кое-где облупленный. Крыша покатая, потемневшая от времени, с мхом по краям — зелёные пятна, будто крыша старилась по-своему, росла, обрастала, как камень в лесу. Вход — бетонное крыльцо, ступеньки стёртые, с трещинами. На крыльце, у двери, лежал кусок резинового коврика, порванный, грязный — вытирать ноги о него было почти бесполезно.

Татьяна сказала, может постоять здесь, пока ребята гуляют, занимаются спортом в свободное время. Ей, видимо, надо было дожидаться кого-то из воспитателей или передать его кому-то. Она стояла и разговаривала с кем-то — может, с воспитательницей, может, с кем-то из персонала.

— Нина Ивановна, это новенький, Сергей. Из города... — Татьяна назвала город, который Сергей уже не запомнил, потому что не слушал.

— М-да, — сказала Нина Ивановна, посмотрев на него. — Ещё один. Ну что ж, здравствуй, Сергей. Пойдём.

Голос у неё был низкий, чуть хриловатый — голос женщины, которая много говорила на протяжении многих лет и оттого сорвала его, но не настолько, чтобы это мешало. Она смотрела на Сергея так, как смотрят на новую деталь на конвейере: прошла — следующая.

Сергей не вслушивался в их разговор. Он смотрел по сторонам. Запоминал. За спиной у него шумело поле, крики ребят сливались с шелестом ветра в траве. Где-то рядом пролетела ворона, громко каркнула, и звук её голоса эхом прокатился по двору, будто подчёркивая, что он здесь чужой. Ворона села на забор, на самый верх, на проволоку, — и сидела, смотрела вниз, на территорию, чёрная, неподвижная, как охранник. Сергей посмотрел на неё и подумал: вот тебе и вышка. Даже ворона тут смотрит.

Глава 3. Знакомство с отрядом

Сергей ещё никого из ребят не встретил и не видел. Только издалека — на поле — слышны были голоса, крики, смех. Но тех, с кем ему предстоит жить, он пока не знал.

Он достал полпачки сигарет, которые у него оставались, спрятанные от отца. Спрятать их было нетрудно — он это делал давно, ещё когда жил дома, ещё когда только начал курить и понимал, что если отец найдёт — будет плохо. Пачка была мягкая, половина сигарет уже была стреляная, бычки. Но сейчас это было его единственное богатство, единственное, что он мог контролировать, и он держался за это.

Он пошёл за отряд — там был уличный туалет летний. Деревянная будка, щели в досках, запах специфический, но привычный. Главное — за этой будкой его не было видно ни воспитательнице, ни психологу, пока они стояли и разговаривали у крыльца. За будкой, у самой стены забора, рос сухой куст — какой-то татарник или лопух, давно засохший, с коричневыми стеблями и колючками. Он служил дополнительным укрытием — не идеальным, но достаточным.

Он закурил. Торопился, затягивался быстро, жадно, чтобы его никто не увидел и не узнал, что у него есть сигареты. Если узнают — отнимут. Или попросят. А делиться он пока не мог, у него и так мало. Первая затяжка — и голова чуть закружилась. Не от голода, не от слабости — от всего, от напряжения, которое он держал в себе с самого утра, ещё с перелёта. Сигарета немного отпустила. Не сильно, но немного. Хоть на минуточку.

Он стоял за будкой, курил, и мысли крутились. Дым поднимался вверх, в серое небо, и исчезал. Как и всё остальное — поднимается и исчезает. Рядом с будкой росла сухая полынь, её горьковатый запах смешивался с дымом, и Сергею казалось, что этот запах — как метка места, которое он теперь должен запомнить. Полынь, дым, щели в досках. Если понадобится — он найдёт это место и в темноте.

«Ладно, — думал он. — Спокойно. Главное — не паниковать. Не паниковать. Я здесь. Я один. Но я выживу. Я всегда выживал. Дома выживал — и тут выживу. Надо только понять, как тут всё устроено. Кто главный. Кто кто есть. Где забор слабый. Когда смена. Кто смотрит, кто нет. Всё узнать — и тогда думать. А пока — сидеть тихо, смотреть, запоминать. Не лезть на рожон. Не показывать страх. Не показывать, что мне плохо. Не показывать, что мне одиноко. Потому что если покажешь — тебя сожрут. Здесь — как везде: кто слабый, того жрут».

До конца он не докурил. Мысли крутились в голове наперебой — он не знал, что и как будет дальше. Как отсюда убежать. Когда. Куда бежать. И главное — как. Он ведь в другом городе, за тысячу километров от дома. Нет, не от дома — от того, что домом называлось. Денег нет. Связей нет. Карты местности нет. Он даже не знает, как называется посёлок, в который его привезли. Бежать наугад — это верный способ попасть обратно и получить ещё хуже. Надо было всё подготовить. Но для этого надо было сначала понять, где он, что вокруг, как устроена территория, кто когда дежурит, где дырки в заборе, если они есть.

Он видел забор. Забор был около трёх метров, с колючей проволокой наверху. Забор деревянный, старый, но без видимых повреждений — доски подгнили, но стояли крепко, щелей таких, чтобы пролезть, не было. Наверху, по углам, — что-то вроде наблюдательных вышек или площадок, откуда можно было видеть, чтоб никто не пересекал забор. На углу территории стояла также маленькая избушка — видимо, для сторожа. Из неё можно было наблюдать за периметром. Сергей посмотрел на эту избушку и подумал: там кто-то сидит, смотрит. Значит, даже ночью не расслабишься. В окне избушки что-то мигнуло — может, свет, может, отражение, — и Сергей вздрогнул, хотя тут же взял себя в руки. Просто стекло. Просто солнце зашло за облако и вышло. Но на секунду показалось, что кто-то посмотрел прямо на него.

«Вышка, избушка, проволока, — считал он про себя. — Это серьёзно. Это не школа — это лагерь. Маленький лагерь. Только без вышек с пулемётами. Но сути не меняет: ты заперт. Ты — внутри. Они — снаружи. И между вами — забор. Три метра дерева и ржавая проволока. Три метра — это много. Но не невозможно. Невозможного не бывает. Бывает — трудно. Бывает — долго. Но не невозможно».

На поле он видел, как играют ребята. Орут, кричат, по-своему выражаясь — кто-то матерится, кто-то смеётся, кто-то спорит из-за мяча. Нормальные мальчишечьи звуки. Но он о них пока ещё не думал. Думал только о своём — что будет дальше, как пройдёт знакомство, кто к нему подойдёт первым, что ему скажут, что от него захотят. Он уже знал по жизни: первое впечатление — самое важное. Если ты с первого дня покажешь, что тебя можно давить, — тебя будут давить. Если покажешь, что ты не из пугливых, — отстанут, или хотя бы не сразу полезут.

«Первый день — самый важный, — думал он. — Как себя покажешь — так тебя и будут держать. Покажешь, что слабый — всё, тебя будут гнать. Покажешь, что злой — будут бояться. Покажешь, что умный — будут уважать. Но не показывай, что ты добрый. Добрых — используют. Добрых — жрут

##Глава 4. Первая ночь

В первую ночь Сергею, по сути дела, ничего не снилось. Не снился ему ни дом, ни мать с отцом, ни братья — ничего не снилось. Спал он чутко. Спал, вёл себя насторожённо, потому что неизвестно, что могло произойти. Потому что не всё так просто: старшеклассники не просто так добиваются своего уважения, они добиваются всё это силой. Если ты покажешь свою слабость — значит, ты пропадёшь. Это он знал твёрдо, как знал, что утром будет подъём и надо будет вставать.

Он просыпался несколько раз. То скрипнет дверь — и он уже открыл глаза, уже слушает, уже тело напряжено, как пружина, готово вскочить, оттолкнуться, бежать — куда? Не знает, но готово. Сердце колотится, бьётся в рёбра, и он лежит, не дышит, слушает: кто? куда? зачем? Секунда, две — и скрип стих. Кто-то ходил в туалет. Просто в туалет. Сергей выдохнул, расслабился. Но сон уже ушёл — как птица, которую спугнули, и теперь она сидит на ветке и не возвращается в гнездо.

То кто-то ходит по коридору — тяжёлые шаги, дядь Вити. Скрип-скрип-скрип по линолеуму. Дядь Витя проверял — выходил из своей каморки, проходил по коридору, заглядывал в комнаты, считал. Его шаги Сергей уже узнавал — медленные, ровные, с хромотой на правую ногу, может, старая травма, может, возраст. Дядь Витя заглянул в комнату — свет из коридора упал на пол, на кровати, на лицо Сергея, но Сергей закрыл глаза, притворился, что спит. Дядь Витя посчитал — раз, два, три, четыре — кивнул сам себе и ушёл. Свет погас. Тишина.

То просто тишина — и она давит, и он не может спать, потому что тишина здесь, в чужом месте, — не та тишина, которая убаюкивает, а та, которая настораживает. Дома тишина была — своя, привычная, знакомая: скрип половиц, тиканье часов, шум машин за окном, соседский телевизор. Здесь — чужая. Чужие звуки, чужой ритм, чужой запах. Здесь тишина была — как чужой дом, в который ты вошёл без спроса и не знаешь, куда идти, где стоять, как себя вести.

Но полусны всё равно приходили. Сергею снился Витик, снился Валера Курганский, дядь Саша... Тётя Надя. Как с ними было хорошо. Ему нравилось на даче у дяди Саши Курганского — тот самый дом, тот самый двор, огород, где можно было копать. Ему нравилось проводить время с тётей Надей. Всегда весело, всегда ему чему-то учили, никогда не проходил день скучно. Всегда что-то происходило, что-то делали, что-то обсуждали, и ему это нравилось. Ему нравилась эта теплота — простая, ненапряжная, без условий. Когда тебя не пилят, не проверяют, не спрашивают «а почему ты не сделал», а просто — есть ты рядом, и хорошо.

Во сне — если это можно назвать сном, скорее — полудрёмой, маревом, — он видел двор. Солнце, пыль, пахнет землёй и свежескошенной травой. Пыль — тёплая, жёлтая, под ногами, и в ней — следы: его, тёти Нади, дяди Саши, какие-то ещё — может, собачьи, может, кошачьи. Тётя Надя выходит из дома, вытирает руки о фартук — синий, в белый горошек, застиранный, мягкий, — улыбается. Лицо у неё — круглое, доброе, с морщинками у глаз, которые появляются, когда она улыбается, и она улыбается почти всегда. Волосы — собраны, заколоты, русые, с проседью. Руки — в муке, белые, тёплые.

— Серёжа, ну что, идём капусту сажать?

— Иду, тёть Надь!

И они идут — на огород, копаться в земле. Огород — большой, за домом, с грядками, ровными, ухоженными. На грядках — всё: помидоры, огурцы, капуста, морковь, укроп, лук. Сергей идёт за тётей Надей, и солнце греет спину, и земля — тёплая, мягкая, чёрная, и пахнет — так, как пахнет только живая земля, — густо, сладковато, с горчинкой. Он копает — лопатой, которая великовата, но он справляется. Тётя Надя показывает, как — не командует, а показывает: «Вот так, Серёжа, неглубоко, аккуратно, корни не повреди». И он старается, и она хвалит.

И он счастлив. Счастлив так, как не был счастлив нигде и никогда. Потому что там — его хотели. Там — он был нужен. Не для чего-то — а просто — нужен. Был. И всё.

На самом деле ему нравилось на огороде копаться, помогать тёте Наде — даже если его не просили. Он сам брался, сам что-то делал, и знал, что за это его всегда похвалят, всегда как-нибудь да порадуют. Чего он никогда не видел дома. Дома всё это было как за должное — «ты должен», «ты обязан». Там, у тёти Нади, было не «ты должен», а «молодец, Серёжа». И это «молодец» было дороже всего, что он когда-либо получал дома.

— Молодец, Серёжа, — говорила тётя Надя, и хлопала его по плечу, и улыбалась. — Вот, глядишь, и огородник из тебя выйдет.

А потом выходил из дома дядя Саша — звать обедать. Крикнет через двор:

— Серёжа! Тётя Надя! Идите уже, остынет!

И они шли — мыли руки у колонки, холодной водой, из ведра, и руки — красные, мокрые, и пахнут землёй, и тётя Надя говорит: «Ну, огородник, иди, умывайся, грязнуля», и смеётся, и он тоже смеётся, и всё — просто, тепло, хорошо.

А дома: «Ты чё, опять ничего не сделал?! Сколько можно говорить! Бестолочь!» И в спину — подзатыльник, или ремень, или просто слово, которое бьёт хуже ремня. «Бестолочь». Одно слово. А от тёти Нади — «молодец». Тоже одно слово. Разница. Как между днём и ночью. Как между теплом и холодом. Как между «молодец» и «бестолочь». Одно слово — и мир меняется. Одно слово — и ты либо растишь, либо давишь. Тётя Надя растила. Отец — давил. Вот и вся разница. Вот и весь секрет, если он есть.

В полудрёме он видел и Витика — своего друга, с которым бегал по дворам, с которым дрался, с которым делил сигареты и секреты. Витик был — маленький, рыжий, с веснушками, с разбитой губой, которая не заживала, потому что он вечно дрался. Витик смеялся — громко,

заливисто, запрокидывая голову, — и его смех был самый яркий звук во сне Сергея. Потом Витик исчез — растворился в белом тумане, как все остальные, как всё хорошее.

Дядя Саша Курганский тоже приснился — сидел на веранде, курил, смотрел на Сергея своими тёмными, спокойными глазами. Ничего не говорил — просто смотрел. И Сергей понимал его молчание, как понимал всегда: дядя Саша не говорил лишнего. Он вообще мало говорил. Но когда говорил — каждое слово было — весомое, как камень. «Серый, — говорил он, — помни: в жизни есть два пути. Один — лёгкий, но ведёт вниз. Другой — трудный, но ведёт вверх. Ты выбирай трудный. Потому что лёгкий — все выбирают. А трудный — единицы. И ты — единица. Запомни».

Так Сергей потихоньку и заснул в полудрёме — не по-настоящему, а так, в тумане, между сном и явью, где картинки мелькали и тут же исчезали, как кадры из старого фильма, плёнка которого рвётся и склеивается снова, и каждый кадр — частица жизни, частица памяти, частица того, что было и чего больше нет.

Глава 5. Подъём

Утро началось шумно — с громкого подъёма старшеклассников. Они ходили по комнатам и орал «Подъём! Всем вставать!» — громко, безжалостно, без всякого сочувствия к тем, кто хочет ещё поспать. Всем надо было вставать, время раннее, свет ещё только-только начинался за окном. Серое, вялое: солнце едва поднималось, и небо было бледно-серым, как выцветшая простыня, без единого проблеска, без единой надежды на тепло. Глаза слипались, тело не хотело двигаться, но вставать надо — это было первое правило, которое он усвоил без объяснений.

— Подъём! Подъём, я сказал! Все встали! — орал кто-то в коридоре, стуча в двери. Голос — молодой, сильный, с хрипотцой утренней. — Не заставляй меня заходить!

Стук в дверь — не кулаком, а ладонью, но громко, звонко, будто хлестали. И ещё, и ещё — по каждой двери, по очереди, методично, как будто будильник, который не выключишь.

Сосед Сергея по комнате, тот самый Толик, который объяснял про трусы, вскочил мгновенно — привычный, натренированный. Секунда — и он уже на ногах, уже заправляет кровать, уже натягивает штаны. Второй — бритоголовый — медленно, со стоном, нехотя, ворочаясь, как медведь из берлоги. Третий вообще не двигался, пока старшеклассник не зашёл и не сдёрнул с него одеяло.

— Я тебе сказал — подъём! Или побежишь на зарядку без штанов? — старшеклассник стоял над ним, высокий, в одних трусах, с заспанным лицом и злыми глазами.

— Ладно, ладно, встаю... — мальчишка — щуплый, маленький — поднялся, как мог, моргая, хватая одеяло, пытаясь натянуть его обратно.

— Оставь одеяло. Постель — заправить. Двадцать минут на всё. Опоздаешь — побежишь дополнительно.

Дверь хлопнула. Шаги — дальше, в следующую комнату. Стук, крик, ворчание — тот же ритуал, дверь в дверь, комната в комнату.

Сергей встал сразу. Не потому что испугался — потому что так проще. Встал, оделся, заправил кровать. Заправил — быстро, кое-как, но заправил. Привык — дома надо было заправлять, иначе отец орал. Ну, хоть чему-то отец научил. Заправлять кровать. Большое достижение. Он усмехнулся — еле заметно, без веселья, — и пошёл умываться.

Умывальник был в конце коридора — общий, на весь этаж. Раковины — три, металлические, с потёками ржавчины, с кранами, которые текли. Вода — холодная, ледяная, от неё сводило руки. Сергей плеснул в лицо — раз, два, три — и проснулся. Не от воды — от холода. Холод — лучше любого кофе. Он посмотрел в зеркало — маленькое, треснувшее, мутное — и увидел себя: бледный, с тёмными кругами под глазами, с сухими губами, с глазами, которые уже не были детскими. Он узнал этот взгляд — тот же, что у Ваньки, что у всех здесь. Взгляд, который знает больше, чем должен.

Толик стоял рядом, умывался, фыркал.

— Ну как первая ночь? — спросил он, вытираясь полотенцем — казённым, жёстким, с бахромой по краям.

— Нормально, — ответил Сергей.

— Я тоже первое время не мог спать. Потом привыкаешь. Через неделю — как убитый будешь спать.

— Посмотрим.

Умываться, одеваться, спускаться вниз, готовиться к завтраку. Все, полусонные, с полужакрытыми глазами, шли на этот завтрак. Строем, парами, как вчера, по той же дорожке, мимо того же забора. Утро было — серое, холодное, с мелкой росой на траве, которая блестела, как стеклярус. Туман — низкий, густой, лежал на поле, и ворота футбольные торчали из него, как призраки, как остова чего-то, что было и исчезло.

Кормили сносно — голодать не приходилось. Каша, хлеб, чай. Не ресторан, но съедобно, и после еды становилось чуть легче — тело просыпалось, голова прояснялась. Столовая была та же, что вчера, — маленькая, с теми же плакатами, с тем же запахом. Но утром она была другой — светлее, шумнее, живее. Солнце — или то, что здесь было вместо солнца — пробивалось сквозь окна, и пылинки кружились в лучах, как микроскопические планеты.

Каша была перловая — вязкая, серая, с комками. Ложка стояла в ней, как в цементе. Сергей посмотрел на неё, потом на соседа — того же, что и вчера, крупного, с красными щеками.

— Это что?

— Каша. Перловка. Ешь, не спрашивай. Тут лучше не спрашивать — что дают, то и ешь.

— Я перловку не люблю.

— А тебя никто не спрашивает, кого ты любишь. Ешь. Или будешь голодный до обеда. А обед — в час. Далеко ещё до часа.

— А если не съем?

— Не съешь — голодный будешь. Тут, знаешь, как: не хочешь — не ешь. Но потом не жаловайся. Тут жалобы никому не нужны. Ни твои, ни чьи.

Сергей ел. Не потому что хотел — потому что надо. Тело требовало. Он ел, и каша была безвкусная, тёплая, склизкая, но — ел. Потому что здесь, в спецшколе, есть — значит, жить. Не есть — значит, слабеть. Слабеть — нельзя. Он вспоминал слова дяди Саши: «Серый, ешь

всегда, когда дают. Не хочешь — ешь. Голод — слабость. А слабость — смерть. Ты запомни: сначала — тело. Потом — всё остальное». И он ел. Ложка за ложкой, механически, без удовольствия, но — ел.

Хлеб — две горбушки, подсохшие. Чай — в железной кружке, тёплый, сладкий, с привкусом железа и казённости. Сергей допил, вытер рот рукавом. Посмотрел по сторонам. За соседним столом — Ванька. Маленький, щуплый, ел молча, быстро, аккуратно — каждый кусочек, каждую крошку. Не разбрасывал, не оставлял. Ел так, как будто еда — это ценность, которую нельзя потерять. Сергей помахал ему — еле заметно, подбородком. Ванька кивнул — тоже еле заметно. Контакт. Они узнали друг друга, и этого было достаточно.

Глава 6. Ванька

Потом Сергей более-менее уже вошёл во все тонкости данного проживания — но это всё было впереди. Он покупал булочки за табак. Многие были весёлым в этой спецшколе, многие — страшным. Он начал знакомиться с мальчишками, и туда попадали мальчишки, совершившие самые страшные, самые ужасные преступления — порой даже не представишь, что ребёнок может сделать такие вещи.

Был Ванька — тот, который взял сигарету у Сергея в первый день. Ему было всего десять лет. Десять. Маленький, щуплый, с глазами, в которых было что-то взрослое, тяжёлое, что-то, чему не место в детском лице. Он попал туда вот как: рос без родителей — мать и отец рано умерли. Рос с бабушкой. Бабушка получала опекунские деньги, выпивала, за ним больно не следила. Не то чтобы плохая была — просто пила. А когда пила — становилась другой: злой, непредсказуемой, колючей. Как будто человек уходил, а вместо него оставалось тело, которое говорило чужим голосом, делало чужие вещи. Ванька это знал — он с этим рос. Он и не помнил, чтобы было иначе. Он не помнил, чтобы мать и отец были. Он помнил только бабушку — и бабушку выпивающую, и бабушку трезвую. Две бабушки в одном человеке. И никогда не знаешь, какая проснётся.

Дом у них был — старый, деревянный, в деревне. Печь — большая, кирпичная, занимала пол-избы. Крыша — течёт. Забор — покосившийся. Огород — заросший, потому что бабушка, когда выпивала, ничего не делала, а когда трезвая — болела, потому что после запоя всегда болела. Ванька рос сам по себе — как трава, как сорняк, как одуванчик. Его никто не сажал, никто не поливал, никто не пропалывал. Он рос — и всё.

Он просил как-то просто денег — ему куда-то с друзьями надо было, ещё что-то. А она очередной раз была выпившая. Сидела за столом, перед ней — бутылка, огурцы, хлеб. Лицо — красное, отёчное, глаза — мутные, пустые. Не злые — пустые. Хуже, чем злые. Злые — это хоть что-то. Пустые — ничего.

— Дай денег, — сказал он.

— Нету, — ответила бабушка. — Нету, и всё. Иди, не мешай.

— Ну дай. Ну хоть немного. Ну, бабушка...

— Я тебе сказала — нету! Иди отсюда! — бабушка махнула рукой — вяло, неточно, как будто отгоняла муху, но попала по стакану, стакан упал, разбился, и осколки разлетелись по полу. Водка растеклась, запах — резкий, кислый, привычный. — Иди, я сказала! Не путайся под ногами!

Ванька вышел. Сердце — колотится. Кулаки — сжаты. Глаза — мокрые, но он не плакал. Он не плакал — он разозлился. Злость — горячая, тёмная, как уголь, как лава, — поднялась из живота, из груди, из горла, и он уже не мог её сдерживать, и не хотел, и не пытался.

Он жил в деревне, и за несколько недель до всего этого у него перебирали печку — мужик приходил, кирпичи лишние остались, сложил у крыльца. Кирпичи — старые, от печки, с трещинами, с сажей, тяжёлые. Вот он вышел — злой на бабушку, злой на весь мир, жестокий, потому что опять бабушка все деньги пропьёт, ему ничего не купит, и так не дала. Взял этот кирпич — старый, от печки — и зашёл домой.

Что было дальше — он не рассказывал. Не мог. Не хотел. Или — не помнил. Он говорил: «Не помню. Как будто не я. Как будто кто-то другой. Я стою — и смотрю, и не могу остановиться. Руки — сами. Голова — пустая. Как в тумане. А потом — кровь. Много крови. И бабушка — лежит. И я стою. И кирпич — в руке. Тяжёлый. И всё».

Результат был такой: он разбил бабушке всю голову. Бабушка выжила — но стала инвалидом, тяжёлым, лежачим. Из-за этого его поместили в спецшколу. Десять лет. Маленький, щуплый, с тонкими руками, которые могли бы держать карандаш, игрушку, мячик — но держали кирпич.

Сергей узнал об этом не сразу. Не в первый день, не в первую неделю. Постепенно, по обрывкам, по намёкам, по тому, как Ванька иногда замирал посреди разговора и смотрел в одну точку — мимо собеседника, мимо стен, мимо всего — куда-то внутрь себя, куда никто не мог добраться. Замирал — и не двигался, не мигал, не дышал, как будто на минуту, на две, выключался из реальности и уходил куда-то, в то место, которое он никому не показывал и о котором никому не рассказывал. Потом — возвращался. Моргал, вздрагивал, смотрел на Сергея — и улыбался, криво, коротко, как будто ничего не было. Но Сергей видел — видел, как в эти секунды глаза Ваньки становились стеклянными, пустыми, мёртвыми, и в них отражалось что-то, чего Сергей не мог разглядеть, но что было там, внутри, тяжёлое, тёмное, неподъёмное.

Однажды, недели через две, когда они уже привыкли друг к другу, сидели за туалетом, курили, Ванька вдруг сказал:

— Серый, а ты знаешь, за что я тут?

— Не знаю, — ответил Сергей. — И не спрашивал.

— А почему не спрашивал?

— Потому что не моё дело. Каждый тут за своё. Я — за своё, ты — за своё. Хочешь — расскажешь. Не хочешь — нет.

Ванька помолчал. Затянулся. Выпустил дым. Посмотрел на небо — серое, низкое, безразличное, как будто ему не было дела до того, что происходит внизу, под ним, за забором, среди детей, которые сделали то, что не должны делать дети.

— Я бабушку убил, — сказал он. Тихо, ровно, как говорил о погоде. — Кирпичом. По голове. Она денег не дала. Я был злой. Взял кирпич и... Не помню. Потом — кровь. Много крови. И всё.

Сергей не сказал ничего. Не потому что нечего было сказать — а потому что в такие моменты слова не нужны. Они даже мешают. Они — как бинт на открытую рану: не лечат, а

только прикрывают, и под ними всё равно болит, и бинт прилипает, и потом, когда снимаешь, — ещё больнее. Он просто сидел рядом, курил, и молчал. И это молчание было правильным — он это знал. Потому что если бы он сказал «ничего, бывает» — это было бы ложью. Бывает — не бывает, а вот так — вот так. А если бы он сказал «я понимаю» — это было бы неправдой, потому что он не понимал. Не мог понять. Как можно взять кирпич и... Нет. Этого он понять не мог. Но он мог сидеть рядом. И мог молчать. И этого было достаточно.

Ванька сидел, смотрел в землю, и пальцы его — тонкие, с жёлтыми пятнами от никотина — теребили травинку, крутили её, мяли, рвали на мелкие кусочки. Травинка — зелёная, свежая, живая — ломалась в его пальцах, и он не замечал, как ломал, и кусочки падали на землю, и он их не собирал.

— Ты мне сигарету дал тогда, — сказал Ванька, уже другим тоном, как будто переключился, как будто закрыл ту дверь и открыл другую. — Первую тут. Мне никто ничего не давал. Тут — все жадные. А ты дал.

— Ну, дал, — сказал Сергей. — Сигарета — это не великий поступок.

— Для меня — великий, — ответил Ванька. И посмотрел на него — серьёзно, без тени улыбки. — Тут, Серый, сигарета — это не сигарета. Это — доверие. Ты мне дал — значит, ты не жадный. Не жадный — значит, не предашь. Не предашь — значит, можно рядом быть. Вот так.

Сергей промолчал. Не потому что не согласен — а потому что не знал, что сказать. Он дал сигарету не потому что доверял — а потому что увидел в Ваньке то, что узнал в себе. Ту же тяжесть. Тот же взгляд. Ту же усталость, которая не от тела, а от чего-то другого, чему нет названия. И он дал — не из жалости, не из щедрости — из узнавания. Как будто встретил на улице человека, который идёт под тем же дождём, что и ты, и поделился зонтом. Не потому что добрый — потому что дождь один на двоих.

Глава 7. Спецшкола

И таких случаев там было много. Их было сто пятьдесят человек — сто пятьдесят детей, и это были очень страшные дети. Не все — но многие. И люди мало знают про такие спецшколы. Они, оказывается, есть в каждой области. И там находятся дети с того возраста, когда даже люди нормальные не предполагают, что дети могут сидеть — начиная с девяти лет и до четырнадцати. А дальше — может быть, спец-ПТУ, или колония для несовершеннолетних. От девяти до четырнадцати — дети. Маленькие, щуплые, с тонкими руками, с голосами, которые ещё не сломались. Дети, которые сделали то, после чего их перестали считать детьми.

Были там и другие. Один — лет двенадцати, попал за то, что поджёг школу. Не случайно — нарочно. Потому что его не пустили на урок — выгнали за то, что смеялся. Он обиделся — и поджёг. Другой — тринадцати, украл у соседа мопед, разбился на нём, сломал ногу, и пока лежал в больнице, сосед подал заявление. Третий — вообще за кражу: залез в магазин, вынес водку, сигареты, конфеты. Четвёртый — за то, что избил сверстника до полусмерти — за то, что тот назвал его мать нехорошим словом. Пятый — девяти лет, попал за то, что бросил камень в окно учительницы, которая его унизила перед всем классом. Камень попал не в окно — в учительницу. Она потеряла глаз.

Каждый — со своей историей. Каждая история — тяжёлее предыдущей. И все — дети. Сто пятьдесят детей, и каждый — за забором, и каждый — с чем-то таким внутри, что не

должно быть внутри ребёнка. Злость, боль, обида, страх — всё смешано, переплетено, и уже не разобрать, где причина, где следствие, где ребёнок, где преступление. Потому что ребёнок — тоже жертва. И преступление — тоже крик. Но никто не слушает. Никто не разбирает. Никто не пытается понять. Просто — забор, колючка, и «сиди». Как будто забор лечит. Как будто колючка исправляет. Как будто изоляция — это ответ.

Но вот для чего создали эти спецшколы — Сергей только потом начал думать и понимать: государство у нас специально растит в этих спецшколах будущих закоренелых уголовников. Нет бы в то время как-то с ребёнком попробовать вовремя отреагировать — опеке вовремя помочь ребёнку, в девять лет, когда ещё можно что-то изменить. Вместо этого — спецшкола, забор, колючая проволока, и сто пятьдесят малолетних преступников учат друг друга, как быть ещё хуже. Вместо того чтобы вытащить — загоняют глубже. Вместо того чтобы лечить — калечат. Вместо того чтобы дать шанс — отбирают. И потом удивляются — откуда, мол, берутся рецидивисты, почему малолетние преступники становятся взрослыми уголовниками. Откуда. Отсюда. Из этих спецшкол. Из этих заборов. Из этих серых каш и казённых одеял и колючей проволоки, которая ржавеет, но не отпускает.

Глава 8. Первый учебный день

Ну вот, сегодня у Сергея первый день похода в школу. Завтрак прошёл успешно. Вроде бы более-менее проснулись. Хотя, по-честному, ещё бы хотелось поспать. Тело — тяжёлое, непослушное, как будто набитое ватой. Глаза — слипаются. Голова — тупая, медленная, не соображает. Но — надо. Надо вставать, надо идти, надо делать. «Надо» — слово, которое здесь было главным. Не «хочу», не «могу», не «буду» — «надо». И точка.

В этой школе нет первой-второй смены — здесь все идут с утра. Сергей был не больно рад этому, но выбора ему никто не давал. Выбор — это роскошь, которую здесь не предлагали. Здесь предлагали одно: вставай, иди, делай. И он шёл, и делал.

— Все по классам! Строимся! — скомандовала Неля Васильевна. Она стояла у крыльца, в том же сером халате, с тем же хвостом на затылке, с той же ручкой, засунутой за ухо. — Не тянемся! Быстрее! Опоздаете — будете отвечать!

Сергею было любопытно, чего они ему предложат. Но ему надо было ухитриться — не получить двоек и замечаний, потому что за это будет страдать весь класс. А если весь класс будет настроен против Сергея — тогда ему будет плохо, и тогда уже не до побега, не до мечтаний, а просто выживание станет задачей каждого дня. Каждый день — как бой. Каждый урок — как операция. Каждая оценка — как приговор. Не двойка — а приговор. Не замечание — а приговор. Приговор — ему и всем остальным. А остальные — не простят. Не потому что злые — а потому что им и так тяжело, зачем им ещё тяжелее.

Сергей долго не растерялся — придумал очень хорошую позицию. Лучше ничего вообще не делать. Просто притвориться дурачком, что ещё не адаптировался, тому подобное. Вот так, как-нибудь. Вроде бы изначально все воспитатели ему показались более мягкими и доступными, так что попробуем. Попробуем — быть незаметным. Незаметный — не опасный. Не опасный — не трогают. Не трогают — живёшь. Просто — живёшь.

Пришли в школу. Школа была в отдельном здании, на территории, за забором — но за другим, внутренним забором, пониже, без колючки. Здание — одноэтажное, длинное, кирпич-

ное, с рядами окон, за которыми виднелись парты, доски, плакаты. Ступеньки — бетонные, с резиновым ковриком, который был весь в дырках от каблучков. Вход — через крыльцо, с навесом, под которым стояли мальчишки, ждали, пока воспитательницы откроют двери. Все — в школьной форме: серые брюки, белые рубашки, мятые, не по размеру. Некоторые — в галстуках, которые не умели завязывать, и те болтались, как обрезки верёвки.

Все пошли по своим классам. Сергею показали, где его класс. Оказывается, психолог и педагог Татьяна — она же классный руководитель. Сергей посмотрел на неё другими глазами: вчера она была просто женщина, которая провела его до отряда. Сегодня — классный руководитель. Это значит, что она будет каждый день. Это значит, что от неё зависит очень многое — оценки, замечания, отношение. Он это понял сразу и решил: с ней надо быть осторожнее, чем с остальными. Не злиться на неё, не грубить — но и не доверять. Держать дистанцию. Вежливую, ровную, безопасную дистанцию.

Класс был — маленький, человек пятнадцать. Парты — в три ряда, по пять в каждом. Доска — зелёная, с потёками мела, с губкой, которая была серой и жёсткой. На стенах — портреты: Пушкин, Толстой, какой-то военный, Ленин — или кто это был, Сергей не разглядывал. Плакаты: «Знание — сила», «Учись, учиться и ещё раз учиться». Окна — большие, с решётками — снова решётки, но эти были просто декоративные, для вида, алюминиевые, не железные. За окном — двор, забор, поле. Всё та же картина, что и из окна отряда. Только ракурс другой.

— Здравствуй, Сергей. Садись вон туда, последняя парта, у окна, — сказала Татьяна, кивнув на место, которое он и сам бы выбрал. Последняя парта, у окна — самое безопасное место в любом классе. Оттуда видно всех, а тебя — не сразу. Оттуда можно смотреть в окно, можно рисовать, можно спать, прикрывшись учебником. Оттуда — далеко до учительского стола, и голос учителя долетает, но не давит.

— Спасибо, — сказал он. И подумал: «Спасибо — это вежливость. Вежливость — это броня. Чем вежливее, тем дальше от тебя лезут. Запомним».

Он сел. Достал тетрадку, карандаш. Положил на парту. Посмотрел вокруг. Ребята — те же, что и в отряде, но здесь они были другие. Школа — другое пространство, другие правила. Здесь старшие не имели такой власти, как в отряде. Здесь — учитель главный. Здесь — не сила решает, а знания, или их отсутствие. И это было — непривычно. В отряде всё было ясно: кто сильнее, тот и прав. Здесь — не так. Здесь кто умнее, тот и прав. Или кто тише. Сергей пока не понял, как тут работает, но — наблюдал. Смотрел, слушал, запоминал.

Татьяна начала урок. Она говорила — спокойно, негромко, но так, что слышно было всем. Голос у неё был — мягкий, но не слабый. Тёплый, но не липкий. Как чай — не горячий, не холодный, а такой, какой надо. Она рассказывала про что-то — про природу, про реки, про горы. Сергей не слушал. Он смотрел в окно. За окном — двор, забор, поле, небо. Небо — серое, низкое, с облаками, которые медленно плыли, как ватные корабли в сером море. «А если бы у меня был корабль, — думал Сергей, — я бы уплыл. Куда-нибудь. Туда, где нет заборов. Нет ключики. Нет серой каши. Нет старших, которые проверяют на вшивость. Туда, где — тихо. Тихо и хорошо».

Но корабля у него не было. Была — парта, тетрадка, карандаш, и окно, через которое видно — небо, которое так же недостижимо, как и всё остальное.

Все сели по своим местам. Сергей, как обычно, сел на задний ряд — чтобы его меньше было видно. Последняя парта, у окна. Идеальное место: можно смотреть в окно, можно слушать вполуха, можно просто сидеть и думать о своём, и никто не будет дёргать. Парта была такая же, как и в отряде — старая, деревянная, с вырезанными инициалами, с царапинами, с пятнами от чернил, въевшихся в дерево так глубоко, что уже никто не помнил, кто и когда их посадил. Сергей провёл пальцем по столешнице — шершавая, прохладная, с заусеницами, которые можно было ощутить, если провести ногтём. На краю, у стены, кто-то выцарапал: «Скука». Одно слово. Без имени, без даты. Просто — «Скука». Сергей посмотрел на это слово и подумал: ну да. Скука. Тут она — везде. Она в стенах, в полу, в потолке, в каше, в заборе, в каждом дне, который начинается и заканчивается одинаково. Скука — это когда ты знаешь, что будет завтра, потому что завтра будет то же, что сегодня. И послезавтра. И через неделю. И через месяц. Скука — это когда будущее такое же, как прошлое. Только ещё не наступило.

Ему дали тетрадку. Далее учебник. Тетрадка была тонкая, в двенадцать листов, с серой обложкой, на которой был нарисован что-то вроде глобуса или компаса — казённый рисунок, блёклый, от которого веяло тем же, что и от всего здесь — безразличием. Учебник — потрепанный, с загнутыми углами, с чужими подчёркиваниями и заметками на полях. Кто-то рисовал на полях рожицы, кто-то писал слова, которые не положено, кто-то просто черкал. Сергей открыл тетрадку, записал. Единственное, что — «классная работа». Поставил дату. Рука писала ровно, буквы — мелкие, аккуратные, привычные. Он не старался — просто так получалось. Мелкие, сжатые буквы, как будто каждая буква хотела занять поменьше места, чтобы не привлекать внимания. Как и он сам.

Это было единственное, что он дописал за весь этот учебный день. Он просто смотрел в окно, смотрел на доску. Половину слушал, что говорила учительница. Половину витал в своих мыслях, размышляя. Как же всё это дальше будет? Как вся эта картина с его заключением в спецшколе закончится? Когда у него получится побег? Но с бухты-барахты бежать он не собирался. Надо было всё подготовить, чтобы всё было удачно. Потому что неизвестно, как чего обернётся — он в другом городе, за тысячу километров от своего дома, так называемого, от родных улиц и от тех знакомых, кто ему был близок. Беги — и куда? Кто тебя встретит? Кто поможет? Никто. Один город он знал, другой — нет. Одна дорога домой, а как её найти — непонятно. Поэтому пока — сидеть, смотреть, запоминать, ждать.

«Дома, — думал он, — дома хоть дворы знал. Дворы, подворотни, где можно спрятаться, кто в каком подъезде живёт, у кого собака злая, у кого — добрая. Кто даст сигарету, кто — сдаст. Где менты патрулируют, в какое время, по каким улицам. Тут — ничего. Тут я — слепой. Слепой и глухой в чужом городе. Даже если перелезу через забор — дальше что? Куда бежать? Какой дорогой? Где спрятаться на ночь? Что жрать? Нет. Бегство без плана — это не бегство. Это — самоубийство. Медленное, глупое, ненужное. Надо — план. Надо — карта. Надо — знать, где я. А я не знаю. Даже название посёлка не помню. Даже в какую сторону дом — не знаю. Север, юг, восток, запад — куда?»

Он посмотрел в окно. Солнце — если это было солнце, а не просто светлое пятно в серой массе облаков — стояло низко, слева. Утро. Значит, слева — восток. Если восток слева, значит, лицо его смотрит на юг. Значит, дом — позади, на севере. Может. Или не может. Он не был уверен. Он не помнил, как они ехали — в автобусе он задремал, а перелёт — в облаках не разберёшь. Но он отметил: солнце слева — утром. Запомним. Это — первое. Первая точка ориентира. Маленькая, ничтожная, но — точка.

Татьяна что-то объясняла у доски — может, математику, может, русский. Сергей не слушал. Он смотрел в окно. За окном — то же поле, тот же забор, та же колючая проволока. Вдали — дорога, по которой ушёл отец. Пустая. Деревья — уже желтеющие, осень наступала. Листья — золотые, рыжие, с коричневыми пятнами, и некоторые уже опали, и лежали на земле, сухие, шуршащие, и ветер гонял их по двору, как маленькие кораблики. Небо серое, низкое. Он смотрел и думал: вот если бы сейчас встать и пойти. Просто встать, выйти из класса, пройти по коридору, выйти из школы, пройти через двор, через КПП — и всё. Свобода. Но нет. Не сейчас. Не так. Надо — правильно. Надо — подготовить. Надо — знать, куда бежать. А пока — сидеть. Сидеть и смотреть в окно. Сидеть — это тоже тактика. Ожидание — это тоже действие.

— Сергей, — вдруг прозвучал голос Татьяны. — Сергей, ты меня слышишь?

Он вздрогнул. Повернул голову. Все в классе смотрели на него — кто с усмешкой, кто с любопытством, кто безразлично. Татьяна стояла у доски, мел в руке, и смотрела на него — не сердито, не строго, а — с тем мягким вниманием, которое он уже начинал узнавать как её манеру.

— Слышу, — ответил он.

— Тогда скажи: что я только что объясняла?

Сергей посмотрел на доску. На доске — цифры, дроби, что-то про деление. Или про умножение. Он не знал.

— Дроби, — сказал он наугад.

— Правильно, — кивнула Татьяна. — Дроби. Хорошо, что хотя бы это запомнил. Постарайся слушать внимательнее, Сергей. Это тебе пригодится.

— Ага, — сказал он. И снова отвернулся к окну.

Кто-то на задних партах хихикнул. Татьяна не обратила внимания. Продолжила объяснять. Сергей снова ушёл в свои мысли. Дроби. Ему — дроби. Ему бы карту местности, план побега, схему смены охраны, расписание движения автобусов — а ему дроби. Жизнь — дробь. Одна часть — тут, другая — там. Одна — наверху, другая — внизу. Между ними — черта. Забор. Черта, которая разделяет. И никогда не сходится.

На перемене все пошли в туалет, как обычно. Кто более шустрый, у кого было какое-то влияние, у них было чем покурить. Какая-то часть попрошайничала — «дай хоть перетянуться». Туалет был тот же, что и вечером — деревянная будка, с щелями, с запахом, который уже стал привычным. Но утром он был — свежее, прохладнее, и дым от сигарет поднимался в серое небо ровными, тонкими столбами, как сигнальные костры.

— Дай затянуться, а? — голос был тонкий, просящий, с той интонацией, которая не просит, а — умоляет. Это был маленький, щуплый мальчишка, лет одиннадцати, с русыми волосами и красным носом — от холода или от курения, или от того и другого.

— Нету, сам курю, — ответил тот, у кого была сигарета. Крепкий, с широким лицом, он курил не торопясь, с удовольствием, выпуская дым через нос, как будто это было не курение, а представление.

— Ну хоть бычка. Ну хоть разок, — маленький не отставал. Он стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу, руки — в карманах, плечи — сутулые, и весь он был — как вопросительный знак. Вопрос без ответа.

— Отстань, я сказал — нету! — крепкий отвернулся, затянулся глубоко, и дым пошёл внутрь, и было видно, как он задержал его, как насладился, и только потом выпустил — медленно, тонкой струйкой.

Маленький отошёл. Постоял. Посмотрел на остальных — может, у кого ещё есть. Но никто не смотрел в его сторону. Все были заняты своим — курили, разговаривали, смеялись. Он стоял один, в стороне, и смотрел, как другие курят, и его глаза — большие, тёмные — были голодные. Не от голода — от того, чего нельзя поест. От принадлежности. От того, чтобы быть — с ними, а не — рядом.

Но были такие умельцы, кто крутили берёзовые листья в самокрутку, в козью ножку, и дымили так, что аж глаза резало. Листья — жёлтые, сухие, собранные тут же, под забором, с берёзы, которая росла у стены. Они крошили их в ладонях, сворачивали в бумагу — туалетную, тонкую, серую, — и поджигали, и дым был — горький, едкий, зелёный, как будто горела трава, а не лист. Из туалета аж убегали — дым коромыслом, дышать нечем, глаза слезятся, кто-то кашляет, кто-то матерится.

— Ты чё, ядовитый какой-то лист нашёл?! — орал кто-то, отмахиваясь от дыма.

— Берёзовый! Обычный берёзовый! — оправдывался самокур, сам морщась и кашляя.
— Чё, не курили что ли никогда?

— Так не курили! Нормальные люди нормальное курят, а не листья!

— Нормальное — это когда есть. А когда нет — и листья пойдут.

Сергей стоял в стороне, наблюдал. Сам не курил — поберёг свои, их и так мало. Пачка была спрятана глубоко, в тот внутренний карман, и он не доставал её — не здесь, не при всех. Если увидят — попросят. Если попросят — надо делиться. Если делиться — мало останется. А мало — это на неделю, может, меньше. Нет. Пока — не курить. Пока — терпеть. Терпеть он умел.

— Серый, а ты чё не куришь? — спросил кто-то. Это был Толик — сосед по комнате, круглолицый, с веснушками, с тем же добродушным выражением, которое не менялось.

— Берегу, — ответил он коротко.

— У тебя есть?

— Нет. Поэтому и берегу то, что нет.

— Ха, — усмехнулся Толик. — Логично. — И добавил, тише: — У меня тоже нет. Уже три дня не курил. Терплю. Тоже берегу. То, чего нет.

Они переглянулись — и оба усмехнулись. Коротко, без веселья, но — усмехнулись. Это было — что-то. Что-то общее. Оба без сигарет, оба терпят, оба — берегут то, чего нет. Маленькое братство по отсутствию.

Ну вот опять прозвенел звонок, все пошли в школу. Звонок — не электрический, а ручной. Колокол, или что-то вроде — звенел где-то в коридоре, и звук его был резкий, звонкий, металлический, как будто били по пустому ведру. Все вздрагивали, даже те, кто привык, — рефлекс, выработанный днями и неделями. Звонок — это команда. Команда — это закон. Закон — это расписание. Расписание — это день. День — это жизнь. Жизнь — между звонками.

Учёба показалась ему не больно дотошной и в тягость. Никто его больно не нагружал. Домашнее задание в дневник записывать не надо, потому что его и так знает воспитательница вечером. Никаких забот — в этом был свой плюс. Не надо следить за тем, что задали, не надо бояться, что забыл что-то записать. Всё за тебя решено. В этом была своя тюрьма — и своё облегчение. Тюрьма — потому что нет выбора. Облегчение — потому что нет ответственности. А ответственность — это груз, который он не мог сейчас нести. У него и так хватало — нести себя. Просто — нести себя через каждый день. Через каждый урок. Через каждую перемену. Через каждый звонок.

Татьяна ходила по классу, заглядывала в тетрадки, поправляла, подсказывала. К кому-то подходила — тихо, наклоняясь, объясняла на ухо. Кого-то подзывала к доске. Сергей сидел и смотрел, как ребята решают, пишут, стирают, снова пишут. Кто-то — старательно, выводя каждую букву. Кто-то — небрежно, царапая, как будто ему всё равно. Кто-то — списывал у соседа, наклоня тетрадку так, чтобы было видно. Кто-то — сидел, как и Сергей, с пустой тетрадкой, и смотрел в пространство. Их было несколько — таких же, как он. С пустыми тетрадками и полными головами. Или — пустыми головами. Или — и тем, и другим. Полными снаружи, пустыми внутри. Или — наоборот.

— Игорь, иди к доске, — сказала Татьяна. — Реши пример.

Игорь — крупный, с бритой головой — поднялся нехотя. Шаркал к доске. Взял мел. Постоял. Посмотрел на пример. Посмотрел на Татьяну. Посмотрел на пример. Мел в его руке — маленький, белый, хрупкий — казался неуместным, как будто он должен держать не мел, а что-то другое. Что-то тяжёлое.

— Ну? — поторопила Татьяна.

— Не знаю, — сказал Игорь. Бросил мел на подставку. Мел звякнул, разбился на две части. — Не знаю, и всё. Не понимаю я эти дроби.

— Садись, — вздохнула Татьяна. — Садись, Игорь. После урока подойдёшь, разберём.

Игорь сел. Довольный — что отделался легко. Тетрадку не открыл. Смотрел в окно — как и Сергей. Два окна, два пустых взгляда, две пустых тетрадки. Только Игорь не думал о побеге. Игорь думал — о чём? Может, о еде. Может, о девчонках. Может, ни о чём. Может, он уже привык — настолько, что думать не надо. Просто — жить. Жить, как дышишь. Вдох-выдох. Звонок-звонок. Каша-каша. День-день.

Глава 9. Камбала

Вот наконец-то время дошло до полудня, время к обеду. Соответственно, заканчивается школьное время. Всем объявили, прозвенел звонок, все пошли собираться. Каждый класс строится по очереди, выходят, идут в столовую. Строились — на крыльце, по двое в ряд, как и утром. Воспитательницы считали, перекрикивались:

— Первый класс — готов? Второй? Третий? Сергей, ты в каком? Пятый? Становись!

Там — положенный обед. Обед был — как обед. Суп, второе, компот. Но сегодня — что-то новое. Сергей первый раз в своей жизни увидел камбалу. Он ни разу её в жизни не видел, не представлял даже, что такая рыба вообще существует. Плоская, с глазами на одной стороне, странная на вид — она лежала на тарелке, и казалось, что её расплющило чем-то тяжёлым,

как будто кто-то наступил на обычную рыбу и сплющил её в блин. Глаза — оба — были на одной стороне, и смотрели вверх, и были мёртвые, стеклянные, как пуговицы. Кожа — серая, с тёмными пятнами, шершавая. Хвост — тонкий, высохший. Запах — рыбный, но не сильный, не тухлый, а — варёный, чуть сладковатый. Но ему сказали — ешь. Ну, её едят.

— Это что? — спросил Сергей, глядя на тарелку. Он наклонился ближе, разглядывая рыбу, как будто это было не блюдо, а экспонат в музее. Чужой, странный, непонятный экспонат.

— Камбала, — ответил сосед. Это был тот же крепкий, что не дал покурить маленькому. Звали его, кажется, Сашка. — Рыба такая. Плоская.

— А почему она плоская? — Сергей не мог оторвать взгляд. Рыба была — абсурдная. Как будто природа ошиблась, или пошутила, или наказала.

— Не знаю. Она такая. На дне живёт, на боку. Лежит на дне, и глаза — на одну сторону перешли. Приспособилась. Ешь давай, пока не забрали. Тут долго не дают сидеть — минут двадцать, и всё.

— На дне, — повторил Сергей. И подумал: вот и он — на дне. На дне жизни. Лежит, и глаза — на одну сторону. Смотрит в одну сторону — туда, где нет забора. А с другой стороны — ничего не видит. Как камбала. Приспособился. Или — приспособливается.

Он попробовал — и, на удивление, она ему понравилась. Не сильно костлявая, чистится легко. Мясо — белое, нежное, расслаивающееся на тонкие пластинки, как страницы в книге. Вкус — лёгкий, чуть сладковатый, не рыбный, а — морской. Как будто пахло не рыбой, а морем, которого Сергей никогда не видел, но которое было где-то далеко, за забором, за полем, за дорогой, по которой ушёл отец. Да, это были первые впечатления. Потом она, конечно, надоест — дальше больше, до сладкой редьки. Что на неё смотреть уже не будет хотеться, оказывается. Камбала будет — каждый четверг. Каждый четверг — камбала. И через месяц она станет — казённой, безвкусной, как всё здесь. Как каша, как компот, как воздух. Но изначально — понравилась.

— Вкусно, — сказал он. И это было правда — впервые за два дня он сказал «вкусно» и не соврал. Слова прозвучали тихо, почти шёпотом, как будто он удивился сам тому, что сказал.

— Вкусно? — усмехнулся Сашка. — Подожди, ты её через месяц попробуй. Запоёшь по-другому. Через месяц будешь смотреть на неё — и тошно станет. Через два — выкусывать станешь. Через три — просто давиться будешь. Камбала — она как тут: сначала ничего, а потом — до тошноты.

— Ну, пока нравится, — сказал Сергей. И отломил ещё кусок. Белое мясо расслоилось, поддалось, и он положил его в рот, и жевал, и вкус был — настоящий. Не казённый. Настоящий. Маленькое чудо в спецшколе — настоящая еда.

Сашка посмотрел на него и покачал головой.

— Ладно, ешь, пока нравится. Это ненадолго. Тут всё ненадолго. Всё приедается. Даже свобода приедается, если её нет слишком долго.

Сергей промолчал. Доесть не смог — был не голоден, а просто ел, потому что было вкусно, и остановился, когда вкус кончился. Компот — тёмный, сладкий, с сухофруктами — выпил до дна. Поставил стакан. Посмотрел по сторонам. Столовая была — полна, шумна, жива. За соседним столом — кто-то спорил. За другим — смеялись. За третьим — молчали, ели, не глядя друг на друга. Полная жизнь. Маленькая, казённая, запертая, но — жизнь.

Глава 10. Труды

Пообедали, потом пошли на труды. Это вторая воспитательная процедура. После обеда — труды, после трудов — свободное время, после свободного времени — ужин, после ужина — отбой. День — как конвейер. Каждый час — своя операция, своя стадия, свой этап. И ты — деталь на этом конвейере. Проходишь — стадию за стадией. И нет кнопки «стоп».

На трудах крутили все радиорозетки. У спецшколы была какая-то договорённость с заводом «Радио». И вот все собирали радиорозетки. Мастерская была — в отдельном здании, маленьком, кирпичном, с одним окном и железной дверью. Внутри — длинные столы, за которыми сидели мальчишки, и перед каждым — коробка с болтиками, гайками, и инструмент — отвёртки, пинцеты, что-то ещё. Пахло металлом, маслом, и ещё — казённой скукой. Стены — голые, серые. На стене — плакат: «Труд облагораживает человека!» — и Сергей подумал: вот если бы этот плакат увидел дядя Саша Курганский, он бы посмеялся. «Труд облагораживает, — сказал бы он. — Ага. Особенно — труд за забором, за колючкой, за ноль рублей в час. Очень облагораживает. Делаешь из человека — раба и говоришь, что облагораживаешь. Хорошо придумано. Удобно».

Сергею это занятие сразу не понравилось — потому что были какие-то нормы, надо было накрутить большое количество. Маленькие болтики, маленькие гайки — это надо было длительное время сидеть на одном месте, монотонно, нудно, и руки устают, и спина затекает. Болтики — мельчайшие, с резьбой, которая то и дело не шла, застревала, и пальцы — скользили, не могли ухватить, и гайка — не накручивалась, или накручивалась криво, и надо было откручивать, и снова, и снова. Плюс это надо ещё норму выполнить — накрутить этих розеток. Сто штук. Сто штук этой ерунды. Сто — и можно идти. Не сто — остаёшься без полдника. Без полдника — голодный до ужина. А ужин — в шесть. Далеко до шести.

Трудовик — мужик с красным лицом и толстыми пальцами — объяснял, показывая на примере. Лицо у него было — красное, как будто он постоянно задыхался, или пил, или просто от природы такой — мясистый, с крупными порами, с щетиной, которая никогда не сбивалась до конца, а оставалась — колючая, серая. Пальцы — толстые, неповоротливые, и было непонятно, как этими пальцами можно было собирать мелкие детали. Но он собирал — быстро, привычно, как автомат, как машина. Руки — помнили. Глаза — не смотрели. Он мог собирать и разговаривать одновременно — и собирал, и говорил, и болтики летали в его пальцах, как семечки.

— Вот, гайка, вот, болтик. Скручиваешь, закручиваешь. Норма — сто штук за смену. Не выполнил — останешься без полдника. Все поняли? Все поняли. Работаем.

— А если не успеем? — спросил кто-то.

— Не успеешь — останешься. Все успевают — и ты успеешь. Руки — вот, смотри, — он показал свои толстые пальцы, — и эти успевают. Ты — молодые, ловкие. Должны быстрее меня крутить. Работаем, говорю. Время пошло.

Сергей посмотрел на болтики. Маленькие, мелькающие, путающиеся в пальцах. Металлические, холодные, с резьбой, которая блестела тускло, как будто каждый болтик был — маленьким зеркалом, в котором отражалась его собственная — маленькая, холодная, с резьбой — жизнь. Сто штук. Сто штук этой ерунды. Он представил — сидеть тут, крутить, крутить, крутить. Час, два, три. Спина затекает, глаза устают, пальцы болят. И так — каждый день. Каждый день — сто штук. Каждый день — одно и то же. Каждый день — болтик, гайка, бол-

тик, гайка, болтик, гайка. Нет. Нет, нет, нет. Этого он не будет. Не потому что лень — потому что это — не для него. Он не для того сюда попал, чтобы гайки крутить. Он сюда попал — за забор, за колючку, за тысячу километров от дома — и будет крутить гайки? Нет. Это — не его.

Сергей, долго не думая, — у него сразу как-то выскочила отвёртка, и он проколол себе руку. Не сильно, но достаточно, чтобы пошла кровь, чтобы можно было сказать — не могу, рука. Отвёртка была — маленькая, с плоским жалом, и он прижал её к ладони, к мягкому месту, между большим и указательным пальцем, и надавил — резко, коротко. Боль — острая, горячая, как от укола, но сильнее. Кровь — тёмная, алая, выступила каплей, потом — второй, третьей, потекла по ладони, по запястью, и он поднял руку, чтобы все видели.

— Ой! — сказал он, и поднял руку, показывая кровь. Красная, яркая на фоне бледной кожи, она выглядела — серьёзнее, чем была. — Порезался. Не могу крутить. Болит.

Трудовик посмотрел на него — без удивления, без злости. С тем профессиональным выражением, которое говорит: «Я это видел сто раз, мальчишка». Он даже не встал. Посмотрел — из-за стола, поверх очков, которые сидели на кончике его носа, как птица на ветке.

— Иди в медпункт, — сказал он. — Перевяжут.

И всё. Без вопросов, без расспросов, без «как это ты умудрился». Он знал. Он видел это — много раз. Каждый новенький — рано или поздно — или прокалывал, или резал, или просто бросал и говорил «не могу». Трудовик не судил. Не его дело — судить. Его дело — учить. А кто не хочет учиться — медпункт. Там разберутся.

Потом Сергей в дальнейшем уже узнал, что у трудовика жена работает в медпункте — так что, видимо, это было отработанная схема, не он первый это придумал. Сергею перевязали руку и приняли такое решение, что Сергей крутить какое-то время эти радиорозетки не сможет. Так Сергей просидел на трудах до вечера — просто сидел, ничего не делал, и это было лучше, чем крутить гайки. Сидел — на стуле, в углу мастерской, и смотрел, как другие крутят. Смотрел — и думал. Не о гайках. О другом. О том, как устроена эта жизнь — где надо проколоть себе руку, чтобы не делать то, что не хочешь. Где боль — это выход. Где кровь — это свобода. Маленькая, временная, но — свобода. И подумал: вот так и всё. Вся жизнь — вот так. Чтобы не делать то, что тебе навязывают, надо — пострадать. Чтобы быть свободным, надо — заплатить. Болью. Кровью. Чем-то. Бесплатной свободы не бывает. Дядя Саша говорил: «Свобода, Серый, — это не когда тебе дают. Свобода — это когда ты берёшь. И платишь. Всегда платишь. Вопрос — чем». Вот он и заплатил. Проколол ладонь. Маленькая цена за маленькую свободу.

В медпункте пахло йодом и бинтами. Медпункт был — маленькая комната, белёная, с кушеткой, столом, шкафом с лекарствами. На столе — банки, коробки, пинцеты, ножницы. На кушетке — клеёнка, серая, с пятнами от зелёнки и йода. Женщина — жена трудовика, видимо — молча перевязала ему руку, не задавая лишних вопросов. Она была — полная, с круглым лицом, с добрыми, уставшими глазами. Руки — мягкие, тёплые, привычные. Она работала — быстро, аккуратно, не глядя. Как трудовик — на гайках. Руки помнили.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.